

Денис Васильевич Давыдов

## ТИЛЬЗИТ В 1807 ГОДУ



### 1

1807 года 2-е июня ознаменовано было неимоверною храбростию, неимоверными усилиями войск наших, и при всем том этот день был днем бедственным для нашего оружия. Помещенная в боевой порядок наперекор основным правилам военного искусства, заваленная превосходным числом неприятеля, засыпанная на тесном пространстве густою массою чугуна и свинца, частью вбитая в тесные улицы Фридланда, частью опрокинутая с крутых берегов в Алле, армия наша тянулась к Прегелю, чтобы оградить себя от дальнейших покушений неприятеля.

Не забуду никогда тяжелой ночи, сменившей этот кровавый день. Арьергард наш, измученный десятисуточными битвами и ошеломленный последним ударом, разразившимся более на нем, чем на других войсках, прикрывал беспорядочное отступление армии, несколько часов пред тем столь грозной, стройной и красивой. Физические силы наши гнулись под гнетом трудов, нераздельных со службою передовой стражи. Всегда бод-

рый, всегда неусыпный, всегда выше всяких опасностей и бедствий, Багратион командовал этой частью войск, но и он, подобно подчиненным своим, изнемогал от усталости и изнурения. Сподвижники его, тогда только начинавшие знаменитость свою, — граф Пален, Раевский, Ермолов, Кульнев — исполняли обязанности свои также через силу; пехота едва тащила ноги, всадники же дремали, шатаясь на конях.

На рассвете армия прибыла в Велау и в продолжение дня перешла через Прегель; арьергард, соединясь с нею, истребил мост. Все войско, сколько позволило время, устроилось и пошло далее на Таплакен, Клейн-Ширау и Пепелкен, в направлении к Тильзиту. Порядок марша был следующий: впереди гвардия со всей батарейною артиллериею, за ними два полка легкой кавалерии правого фланга (остальною кавалериею этого фланга Беннингсен усилил арьергард), потом вся тяжелая кавалерия обоих флангов, наконец вся пехота и легкая артиллерия, и с ними главная квартира; арьергард заключал шествие.

Но прежде чем продолжать очерк этого отступления, необходимо взглянуть на предшествовавшие оному стратегические распоряжения обоих полководцев.

Наполеон стоял на Пассарге; передовой корпус его армии, корпус Нея, находился в Гутштадте и окрестностях его.

Беннингсен, уstraшенный действием в смежности Фриш-Гафского залива, к которому едва не была приперта армия его во время зимней кампании, избрал новую черту действия. Он расположил войска свои по течению Алле, от окрестностей Гутштадта до Шипенбейля, занимая ими Гейльсберг и Бартенштейн; назначил Гейльсберг пунктом соединения всех сил своих для генерального сражения и покрыл возвышения, облегчающие город, многочисленными укреплениями. Распорядок этот не подлежал бы осуждению, если б черта действия, избранная Беннингсеном, заслоня единственное основание армии нашей — Неман и Россию, заслоняла вместе с тем и магазины, на Немане или между Неманом и нашей армией расположенные. Но никаких магазинов не существовало по этому направлению. Напротив, Беннингсен отстранил их от естественного и истинного основания своего и, заслоня Неман и Россию, оставил и даже умножил съестные и боевые запасы в Кенигсберге, находившемся на правом фланге армии и почти вне круга боевых происшествий. Таким порядком он подверг и магазины и подвозы, высылаемые из них в армию, неминуемой гибели при первой необходимости оставить Гейльсберг, при первом шаге его на правый берег Алле.

Оплошность эта не могла укрыться от пронизательного и всеобъемлющего взгляда полководца, каков был Наполеон. Он решился воспользоваться ею не только потому, что долг всякого военачальника пользоваться ошибками противника, но и по необходимости. Область, которую изнуряли войска его, расположенные на кантонирских квартирах в течение двух месяцев, и область, столько же времени изнуряемая войсками нашими по тем же причинам и в которую он намеревался вторгнуться, не представляли никакого средства к пропитанию. Надлежало иметь заранее строенные магазины, а эти магазины, как я выше сказал, устроены нами только в Кёнигсберге. Разумеется, что Наполеон немедленно определил в мысли своей город этот предметом своего действия, тогда как мы забыли даже оставить в нем достаточный гарнизон для охранения его от наскока самой малочисленной партии гусар неприятельской армии.

Но, чтобы овладеть Кёнигсбергом, не подвергая себя той же самой опасности, в коей находился Беннингсен во время зимней кампании, надлежало выбить армию нашу из гейльсбергских укреплений и отбросить ее на правый берег Алле; средство это не было упущено из виду. Французская армия, перейдя чрез Пассаргу, подходила к Гейльсбергу, обнимая левым крылом своим наше правое крыло. Тогда только Беннингсен вспомнил о Кёнигсберге. Три способа представлялись ему к сохранению, хотя на некоторое время, Кёнигсберга: один в отражении Наполеона от гейльсбергских укреплений, разбитии его армии и преследовании ее за Пассаргу и далее к Висле; другой — в перемещении всей армии нашей к Фриш-Гафскому заливу, не принимая сражения под Гейльсбергом (движение, тогда уже опасное и от смежности с неприятелем почти невозможное; к тому же если б оно и удалось, то снова подвергло бы армию нашу тому бедственному положению, в коем находилась она во время зимней кампании); наконец, третий — в направлении прямо в Кёнигсберг вместо всей армии некоторой части оной. Беннингсен избрал последний, тем более что и самое положение дел сему способствовало. Прусский корпус Лестока, действовавший на нижней Пассарге у Спандена, был отрезан от нашей армии движением левого крыла французской армии от Эльдитена к Гутштадту. То же произошло и с русским отрядом графа Каменского, возвращавшегося из-под Данцига после неудачной попытки пробиться в эту крепость прежде покорения ее французами. Беннингсен воспользовался обоими обстоятельствами. Лесток, усиленный русским отрядом Каменского, что составило около двенадцати тысяч человек, поспешил к Кёнигсбергу.

В это время Наполеон атаковал армию нашу, защищавшую гейльсбергские укрепления, и после невероятных усилий, продолжавшихся до глубокой ночи, был отбит с чрезвычайным уроном.

Мы победили не наступательно, а оборонительно, но победили и, следовательно, могли на другой день воспользоваться победой — атаковать неприятеля. Беннингсен простоял весь этот день в укреплениях и на третий, с армией, ободренной успехом, мало понесшей урону и нисколько не расстроенной, перешел на правый берег Алле, вдоль которого потянулся к Прегелю. Наполеон достиг своего предмета не победою, а неудачею. Таковых примеров мы не видим в истории. Нет столь мало предприимчивого коменданта крепости, который не произвел бы из нее хоть слабой вылазки после отбитого приступа, — не только чтобы решился оставить ее, будучи победителем.

Между тем как мнение о чрезвычайной предприимчивости противника своего принуждало Беннингсена уклоняться от генерального сражения, с Наполеоновой стороны уверенность в недостатке предприимчивости Беннингсена увлекала его в самые опрометчивые действия. Он видел урон, расстройство и, следовательно, некоторое потрясение духа в большей части своей армии, что нераздельно со всяким неудачным приступом. Он видел армию нашу, отступавшую после успеха своего не от бессилия, не от расстройства, не от боязни — чего никогда не бывает в самых посредственных войсках, зарытых по горло в смертоносных укреплениях и отразивших от сих укреплений неприятеля, штурмовавшего их с чистого и открытого местоположения. Он видел все это и не принял в уважение ничего из им виденного. Он, как кажется, не хотел сознаться, что оставление гейльсбергских укреплений и отступление наше вдоль Алле к Прегелю не что иное, как следствие воли, управлявшей нами, а не победы его над нами; что ничего окончательного еще не последовало и что рассечение гордиева узла еще впереди; а, следовательно, для сего перёда надо более войска. Без этого предположения нельзя поверить, чтобы этот великий полководец решился отрядить Мюрата с корпусами Сульта, Даву и большею частью кавалерии, всего около пятидесяти тысяч человек, вслед за Лестоком, и только что с двумя третями армии приступил бы к решению участи войны, впервые для него более полугода продолжавшейся.

Нет сомнения, что вернее и безопаснее было бы Наполеону, оставя без внимания Лестока в Кёнигсберге, идти всеми силами вслед за нашей армией к Нижней Алле, и только по одержании над ней победы отделить от главных своих сил корпуса, отделенные еще из-под Гейльсберга. Единым направлением их от Нижней Алле, чрез Тапиао в Лабиао, он

беспрепятственно и вдруг достиг бы до двух предметов: до овладения Кёнигсбергом без выстрела и до неминуемой гибели корпуса Лестока, коему, кроме Лабиао, не было другого выхода.

Лесток узнал 4-го числа о поражении Беннингсена под Фридландом и об отступлении армии нашей к Тильзиту. Он немедленно оставил Кёнигсберг и поспешил к Лабиао, чтобы оттуда выйти на тильзитский путь. Постигая всю опасность положения своего, он не шел, он летел туда без отдыхов. Мюрат, овладев нашими магазинами в Кёнигсберге, оставил при них корпус Сульта и, отослав Даву чрез Тапиао в главную армию Наполеона, пустился в погоню за Лестоком с одною кавалериею. Он догнал его, но тогда уже, как Лесток прошел открытое местоположение и у Лабиао вступил в леса и болота, где кавалерия была бесполезна. Между тем 3-го числа Наполеон направил из Фридланда корпус Нея на Инстербург и следовал за нами с главными силами.

Не зная об оставлении Сульта в Кёнигсберге и о примкнутии Даву к Наполеону и увлеченный мнением, что при малейшем медлении в отступлении Ней с собственным корпусом и Мюрат с корпусами Даву и Сульта могут прибыть на тильзитский путь и стать между нами и Тильзитом, Беннингсен рассудил, что большая опасность предстоит армии нашей нападением на нее войсками Нея и Мюрата с тыла, чем в напоре всей французской армии спереди от Велау. Это в некотором отношении весьма справедливое рассуждение едва не решило Беннингсена всею громадою войск без исключения достигнуть поспешнее до узла путей, исходящих из Инстербурга и Лабиао и соединяющихся с тильзитским путем при деревнях Ваннаглаукен и Шиллупишкен. Но такой род отступления произвел бы другого рода опасность. Главная масса французской армии, не встречая ни преград, ни отпоров от арьергарда нашего, который поступил бы тогда в состав главных сил, могла, как говорится, сесть нам на плеча и жаркими, неотступными натисками довершить нашу гибель прежде, чем достигли бы мы до правого берега Немана.

Чтобы сколько-нибудь укротить стремление Наполеона со стороны Велау и вместе с тем избежать преграды, которую могли воздвигнуть нам Мюрат и Ней на пути отступления нашего к Тильзиту, приходилось жертвовать арьергардом. Багратион оставлен был при Таплакене с повелением отражать натиски Наполеона и отступать как можно медленнее за армию, которая в то же время усилила переходы свои. Так полтора года пред тем Кутузов, в такой же почти крайности и по тем же причинам, оставил того же Багратиона под Голлабрюном и Шенграбенем против огромных корпусов Ланна, Сульта и Мюрата. Но как там, так и тут та же звезда

горела над питомцем Суворова. Казалось, что провидение хранило его до Бородинского дня, чтобы сочетать великое событие с великою жертвою, другое Каннское побоище со смертью другого Павла Эмилия.

В течение всего 3-го числа преследование производилось без сильных натисков, без той наглости, которая отличала французские войска при малейшей удаче. Но 4-го мы заметили умножение сил в преследовавших нас войсках и почувствовали железную волю их верховного предводителя. Арьергард наш был жестоко тесним под Клейн-Ширау, Битенене и Пепелкене. Узел путей, соединяющихся в Ваннаглаукене и Шиллупишкене, был от нас еще далеко, главная же армия еще далее. О войсках Лестока, также и о посланных партиях для надзора за движением и направлением Нея, мы не получали никакого известия: было от чего прийти в отчаяние!

В этот день, как будто для развлечения нас от неблагоприятных обстоятельств, прибыло в арьергард несколько башкирских полков, только что пришедших в армию. Вооруженные луками и стрелами, в вислоухих шапках, в каких-то кафтанах вроде халатов и на лошадях неуклюжих, малорослых и тупых, эти жалкие карикатуры удалых черкесских наездников присланы были в арьергард, — как нас уверяли тогда, — с намерением поселить в Наполеоне мысль о восстании на него всех народов, подвластных России, и тем утешить его. Но то ли было время, чтобы морочить людей фантазмагориями, — еще менее такого положительного человека, каков был Наполеон? Не народы невежественные и дикие, а триста тысяч резервного, регулярного войска, стоящего на границе с примкнутыми штыками и под начальством полководца, знающего свое дело, предприимчивого и решительного, — вот что тогда могло утешить Наполеона. Я не спорю, что при вторжении в какое-либо европейское государство регулярной армии нашей, восторжествовавшей уже несколько раз над войсками этого государства, — я не спорю, что тучи уральцев, калмыков, башкирцев, ринутых в объезд и в тыл неприятельским войскам, умножат ужас вторжения. Их многолюдство, их наружность, их обычаи, их необузданность, приводя на память гуннов и Аттилу, сильно потрясут европейское воображение и, что еще не менее полезно, вместе с воображением и съестные и военные запасы противной армии. Но после поражения под Фридрихсландом, но при отступлении к Неману, когда и самая наша пехота, артиллерия и конница с трудом уже преграждали сокрушительный победоносный ход наполеоновских громад к границам России, открытой и не готовой на отпор вторжения, — как можно было охмелять себя несбыточными надеждами! Как было уверять себя в успехе, противопоставляя оружие XV столетия оружию XIX-го и метателям ядер, гранат, картечи и

пуль — метателей заостренных железом палочек, хотя бы число их доходило до невероятия!

Как бы то ни было, но французы и те из русских, которые впервые увидели башкирцев, встретили их единодушным смехом, — достойное приветствие воинственной красотой — безобразия, просвещением — невежества. Вечером много было рассказов о приключениях с башкирцами в течение этого дня. Что касается до меня, я был очевидцем одного только случая, весьма забавного.

На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не навывлет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее справа и слева, что почти не причинило бы боли и еще менее ущерба этой громадной выпуклости, — один из башкирцев узнает оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. «Нет, — говорит он, — нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам ее выну...» — «Что ты врешь, — говорили мы ему, — ну, как ты вынешь ее?» — «Да, бачка! возьму за один конец, — продолжал он, — и вырву вон; стрела цела будет». — «А нос?» — спросили мы. — «А нос? — отвечал он, — черт возьми нос!..»

Можно вообразить хохот наш.

Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал однако ж, о чем идет дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. Долг платежом красен: тут в свою очередь французский нос восторжествовал над башкирскою стрелою.

Пятого числа положение наше не улучшилось. То же неведение о Лестоке и о Нее, та же неотвязчивость авангарда в преследовании, те же усилия, то же самоотвержение войск наших при отражении натисков неприятеля! Рассуждая об ожидающей нас участи с одним из ближайших тогда приятелей моих, гвардии Семеновского полка штабс-капитаном бароном Дибичем<sup>11</sup>, мы как-то нечаянно и в одно время оглянулись вправо и увидели около пятидесяти прусских гусар, скакавших к правому

флангу нашей позиции. Я ездил на коне не манежно, но бойко, на казацкую руку, и конь подо мной был залетный. В одно мгновение я уже съехался с пруссаками и немедленно прискакал с ними к Багратиону. Они объявили ему, что Лесток благополучно прошел чрез Гросс-Баумвальдский лес, что французы далеко от него отстали, что они еще далее отстанут по причине плотины, рассекающей этот лес более чем на две мили, — плотины узкой и сверх того изломанной и разрытой в разных местах войсками Лестока. Мы ожили! Но судьба не довольствовалась одним подарком. В ту же минуту пришло донесение, не менее счастливое: партии наши, посланные к стороне Инстербурга для наблюдения Нея, прислали известие, что он, не обращаясь уже к тильзитскому пути, взял направление к Гумбиннену; следственно, и с этой стороны горизонта небо прояснилось. Дела наши приняли иной оборот; спасение наше было уже несомненно!

Наконец того же дня к вечеру Тильзит и Неман — предметы, для беспрепятственного и покойного достижения коих главною армиею брошен был арьергард напропалую, — были достигнуты армиею нашею.

Все войска, составлявшие ее, расположились боевым порядком у Дранговской кирки для прикрытия начавшейся переправы тяжестей.

Эти важные для нас события развязали руки Багратиону; он избавился от обязанности удерживать в самом дальнем расстоянии от нашей армии вдесятеро против арьергарда сильнейшие громады войск, предводимых самим Наполеоном. Ней и Мюрат не угрожали уже тылу его, и действие его могло ограничиваться одними легкими и обыкновенными отпорами неприятеля, напиравшего на фронт его от Велау.

В таком положении были дела наши, когда я, 6-го поутру, послан был к Беннингсену с уведомлением о прекращении опасности арьергарду с тыла, о сохранении войсками и устройства, и бодрости духа, о соединении Мюрата с главною армиею, и о направлении корпуса Нея на Гумбиннен.

Я не застал уже армии нашей у Дранговской кирки. Переправя тяжести свои чрез Неман, она сама уже предприняла переправу, и главная квартира перешла в Тильзит. Проехав за кирку, я повстречал скакавшего от Беннингсена в арьергард майора Эрнеста Шёпинга, одного из остроумнейших наших товарищей и собеседников. «Что нового, Шёпинг?» — спросил я его. «Новое то, — отвечал он мне, — что я везу письмо от Беннингсена к Багратиону. Беннингсен предписывает ему войти чрез



меня в сношение с французами и предложить им перемирие, пока приступим к переговорам о мире. Вот тебе все новое. Прощай!»

Нет, не могу выразить, что произвело во мне это известие! Я не скажу, чтобы в отношении собственно к себе мне противны были и перемирие и самый мир. Напротив, непрерывные отступления, даже после успехов; непрерывные занятия новых позиций, будто неприступных, а между тем при появлении неприятеля немедленно оставляемых, и решительное отсутствие наступательного действия — приводили меня в отчаяние. Мне такого рода война истинно надоела, даже опостыла. Ко всему этому положение дел представлялось мне так, как оно было в существе своем: обнаженным от всех оптических обманов и обольщений. Несоразмерность дарований Беннингсена с гением Наполеона, несоразмерность числительной силы армии нашей с неприятельской армией, некоторая уверенность в непобедимости Наполеона, вкравшаяся уже тогда в дух большей части войска, вещественное расстройство армии после Фридландского поражения, недостаток в резервах, чрезмерное расстояние от нас не готовой еще милиции и множество других обстоятельств, не менее важных, — все это было мне известно, и все это от нескольких слов Шёпинга исчезло из моей памяти. Я ничего не видал, я ничего не чувствовал другого, кроме срама приступить к миру без отпущения за Фридланд, и из себя выходил от негодования, как будто на меня лично обрушалась обязанность отвечать отечеству за оскорбление его славы и чести. В безумии моем я поспешил к Беннингсену, чтобы уверить его в отличном еще положении арьергарда и в возможности смело продолжать военные действия на столько времени, сколько ему заблагорассудится. Как будто все зависело от арьергарда? Как будто довольно было одного клона войск для борьбы с полководцем, против которого признавали недостаточною и целую армию? Такова молодость!

Я прискакал в главную квартиру. Толпы разного рода людей составляли ее. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службы и военной и гражданской, тунеядцы и интриганты, — словом, это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкрутившихся в своих надеждах, планах и замыслах.

Войдя в дом, занимаемый Беннингсеном, я узнал, что хотя он еще отдыхает, но что скоро выйдет в залу. От нечего делать я возвращался уже на улицу, чтобы до появления Беннингсена посмотреть на идущие войска к переправе и на приготовление моста к сожжению. В эту минуту счастье навело меня на такого воителя, моего знакомца, которого одно выражение

физиономии противоречило уже мерам, гнездившимся в голове моей. Это бледное и трепещущее привидение, узнав от меня намерение мое, возмечтало, видно, что Беннингсен непременно и беспрекословно уважит все то, что я, двадцатилетний сорванец, предложу ему. Ужас обуял его. Он принялся доказывать мне, как предосудительно подчиненному давать советы такой высокой особе, каков главнокомандующий, особенно в мои лета, в моем чине (Лейб-гусарского полка штабс-ротмистра) и при малой моей опытности; что, впрочем, все уже решено и что, кроме насмешек и прозвания «La mouche du coche» (человек, суесящийся без толку. — *Ред.*), я ни до чего другого не достигну. Замечание это было жестоко справедливо, и оно потрясло решимость мою до основания. Я призадумался и, очнувшись, окинул глазом то (давно ли еще столь бодрое и уверенное в низложении Наполеона?) общество, которым был окружен. Этого было довольно, чтобы наложить печать на уста мои. Не было сомнения, что при таковых рыцарях нечего было и помышлять о продолжении борьбы с неприятелем. Тут только разглядел я, в какой мир я попал, и узнал, до какой степени та часть армии, которая живет под крышами и так редко вдается в случайности сражений, различествует от той, которой крышею служит шатер небесный и которую за два часа перед тем я оставил под пулями и ядрами готовою хоть на вековые войны.

В главной квартире все было в тревоге, как за полчаса до *светопреставления*. Один Беннингсен был неизменен. Он страдал, это видно было, но страдал скорбью безмолвною, мужественною, римскою скорбью; это был Сципион, пораженный Аннибалом при Тессине. Едва он показался в зале, я подошел к нему и передал ему то, с чем был прислан от Багратиона, не прибавя ни слова из нелепой мысли, посетившей меня после моей встречи с Шёпингом. Я уже был излечен от нее благоразумием испуганного моего знакомца и зрелищем испуганной главной квартиры, которой дух более или менее, рано или поздно, но всегда и неминуемо должен отозваться в войсках, ею управляемых. Известие, привезенное мною о безопасном положении, в которое вступил арьергард, было, как казалось, приятным подарком для Беннингсена; взор его прояснился. После некоторых вопросов его и ответов моих аудиенция кончилась, и я возвратился к своему месту.

Между тем армия наша все 6-е и часть 7-го числа непрерывно переходила на правый берег Немана, под прикрытием арьергарда, который, невзирая на предложение Беннингсена, давно уже полученное Наполеоном, теснимый авангардом его, продолжал сражаться. Наконец все войска без исключения перешли через Неман, кроме нескольких десятков казаков, ближайших к фланкерам неприятельским и с ними перестреливав-

шихся. Послано было приказание им примкнуть поспешнее к войскам, перешедшим уже за реку. В самую эту минуту французские конно-егеря и драгуны показались в городе и бросились за ними. Казаки скакали, не примечая, что передовой из преследователей, с саблею наголо, был сам Мюрат; но они успели уже коснуться до правого берега Немана, когда он только что вскакал на мост. Мост вспыхнул почти под мордой красивого коня его и в миг обнялся пламенем. Опрометчивый паладин остановился, круто поворотил коня назад и шагом возвратился в город; Неман разделил сражавшихся. Во время перемирия в Тильзите Мюрат хвастал этою погоней и уверял, что он хотел особою своею перескакать чрез мост и показаться на нашем берегу. «Жаль, что этого не было, ваше высочество, — отвечал ему кто-то из наших, — мы имели бы лишнего пленного».

Армия наша расположилась так. Главная квартира в Амт-Баублене. Пехота и регулярная кавалерия — между Погегеном и Вилькишкеном.

Гвардия — в Бенниккайтене. Прусский корпус Лестока — в Амт-Винге. 14-я русская пехотная дивизия — против Рагнита (куда прибыл корпус Нея), простираясь до Юрбурга.

Все казачье войско — на заливных лугах Немана, против сожженного моста.

Авангард и квартира Багратиона поместились сначала в деревне Шаакене, на дороге, проходящей из Амт-Баублена в Вилькишкен, на берегу одного из заливов Немана; но за несколько дней до заключения мира авангард был распущен, а квартира Багратиона переведена в Погеген.

Тем кончилась война 1806 и 1807 годов. Какой чудесный переворот менее чем в два года! В 1805 году, в августе, Франция, сопредельная другим государствам, из которых каждое обладало подобными и ни в чем не уступавшими ей средствами и могуществом, покоилась в границах своих за Рейном. В 1807 году, в начале июня, не существовало уже между Франциею и Россиею ни одного государства, вполне независимого; все они более или менее покорялись одной воле, воле завоевателя, который с высоких берегов Немана пожирал уже ненасытным взором землю русскую, синеющую на горизонте.

Восьмого числа поутру я находился в главной квартире в Амт-Баублене. При мне приехал туда, с ответом на предложенное Беннингсеном перемирие, адъютант маршала Бертье, Луи Перигор (племянник Талейрана). Я знал его за три года прежде в Петербурге, когда он числился при французском посольстве. Но там я видал его мальчишкою и во фраке; а тут увидел его возмужалым и в гусарском платье. Он был недурен собою и казался еще красивее в черном ментике, который весь горел золотом, в красных шароварах и в медвежьей шапке, что французы называли *colback*.

Перигор принят был весьма вежливо. Это было в порядке вещей, но, к сожалению, с излишней снисходительностью к его наглости. В залу, где находились сам Беннингсен со множеством других генералов и разного рода чиновников, с непокрытыми, как всегда и везде водится, головами, Перигор вошел нос кверху и в шапке на голове, остался в ней до обеда, не снимал ее за обеденным столом Беннингсена и так был до самого своего отъезда. Все это сделано было под предлогом, что военный устав французской армии запрещает снимать шапки и каски офицерам, когда на них лядунки, означающие время службы. Пусть так; но кто мешал Перигору, по исполнении данного ему поручения, снять лядунку и после лядунки шапку? Он тем соблюл бы и законы военного устава своей армии и гораздо прежде их принятые обществом и вкоренившиеся уже в него законы общежития, что, впрочем, всегда соблюдалось французами и прежде и после Перигора. Надо полагать, что не в его голове родилась эта дерзкая мысль. Она внушена была ему свыше, как мерило нашей терпимости; а терпимость наша служила, может быть, мерилом числа и рода требований, которые явились при переговорах о мире. Как знать?

Легко могло случиться, что со сбитием долой шапки с головы Перигора вылетело бы и несколько статей мирного трактата из головы Наполеона. *Дело было в шапке*, но мы не умели, — я не хочу сказать: мы не смели, — воспользоваться этим случаем. Это умышленное пребывание с покрытой головой, при нашем главнокомандующем и при наших генералах и чиновниках, было почувствовано всеми, но никто не сказал ни полслова о том Перигору, хотя бы посредством косвенной шутки<sup>[2]</sup>.

Боже мой! Какое чувство злобы и негодования разлилось по сердцам нашей братии, молодых офицеров, свидетелей этой сцены! Тогда еще между нас не было ни одного космополита; все мы были старинного воспитания и духа, православными россианами, для коих оскорбление чести отечества было то же, что оскорбление собственной чести. Разгоряченное

воображение наше представило нам Перигора каким-то татарским посланцем, приехавшим за данью в стан великих князей российских, каким-то гордым римлянином, другим Попилием, обводившим вокруг нас черту мечом своим, с приказом не переступать чрез нее, пока не покоримся всем его требованиям. Поступок Перигора был первым шагом к оскорблению нашего достоинства, столь часто впоследствии оскорбленного Лористонном, Савари и в особенности Коленкурром проклятой и наглой памяти; но зато, в день победного вступления нашего в Париж, надо было видеть, как все эти лица униженно прибегали к великодушию нашего государя.

Когда вспомнишь об этой тяжелой эпохе, продолжавшейся пять лет сряду, и тут же взглянешь на Россию, и увидишь, что она теперь, и представляешь себе все то, что она совершила без помощи, без поддержки доброжелателей и союзников, одна сама собою, собственным духом, собственными усилиями, — тогда, не краснея, говоришь и об Аустерлице, и о Фридланде, и о нечестивых наполеоновских надзорщиках, о всех этих каплях, упавших в океан событий 1812 года, — тогда гордо поднимаешь голову и мыслишь: я русский.

Того же дня, в шестом часу пополудни, отправился в Тильзит генерал-лейтенант князь Лобанов-Ростовский для переговоров о перемирии, которое заключено было 9-го числа и ратификовано Наполеоном 10-го. Важнейшие статьи условия состояли: в определении демаркационной черты обеих противных армий по тальвегу или по середине Немана; в начатии военных действий (в случае несогласия обеих договаривавшихся сторон) не прежде истечения одного месяца, считая от дня объявления о прекращении перемирия; в заключении перемирия с прусскою армиею особо от российской и в принятии всех возможных мер к поспешнейшему заключению окончательного мира.

Последняя статья была необходима для Наполеона. Невзирая на победу его под Фридландом и на угрожительное пребывание его на Немане, обстоятельства его были в существе своем не так благоприятны, как казались. Впереди Россия с ее неисчислимыми средствами для себя, без средств для неприятеля, — необъятная, бездонная. Позади Пруссия — Пруссия без армии, но с народом, оскорбленным в своей чести, ожесточенным, доведенным до отчаяния насилиями завоевателей, не поднимающим оружия потому только, что не к кому еще пристать, и ожидающим с минуты на минуту восстания Австрии. С своей стороны, Австрия, потрясенная Ульмом и Аустерлицом, но обладающая еще трехсотсорокатысячною армиею<sup>[3]</sup>, готовую к военным действиям, и коей восьмидесяти-тысячный авангард уже двинут был к северным границам Богемии, в

область, прилегавшую к путям сообщения Наполеона с Францией. Вот положение, которое беспокоило сего великого полководца в Тильзите и которое понуждало его к требованию спешнейшего заключения мира.

Император Александр находился тогда недалеко от главной квартиры своей армии.

Одиннадцатого, в три часа пополудни, Наполеон послал обергофмаршала своего Дюрока к его величеству с приветствиями и с ратифицированным им актом перемирия. Государь весьма милостиво принял Дюрока и ратификовал акт, им привезенный. Кажется, тогда же назначено было то достопамятное свидание, коего шумом воспользовался Наполеон, существенною пользой — Александр, которое произвело, с одной стороны, предложение, с другой — согласие, причинившее первую ошибку Наполеона, увлекшую его от ошибки к ошибке до окончательной его гибели. Я говорю о восстании его на Испанию<sup>[4]</sup>.

Тринадцатого был этот торжественный и любопытный день. Так как демаркационная черта проходила по тальвегу или середине Немана, то на самой этой середине, возле сожженного моста, построены были два павильона вроде строящихся на реках купален, четвероугольных и обтянутых белым полотном. Один из них был и обширнее и красивее другого. Он определен был для двух императоров; меньший — для их свит. Павильоны эти построены были по приказанию Наполеона командовавшим артиллерию его армии генералом Ларибоассьером. На одном из фронтов большого видно было с нашей стороны огромное А; на другом фронте, со стороны Тильзита, такой же величины литера N, искусно писанные зеленою краскою. Две больших, но обыкновенных барки с гребцами приготовлены были на обеих сторонах реки для поднятия обоих монархов с их свитами и доставления их к павильонам. Правый берег Немана, занимаемый тогда нами, — луговой и пологий, следственно, уступающий в высоте левому берегу, принадлежавшему тогда французам. Это местное обстоятельство было причиной, что все пространство земли, от самого города до первых возвышений, на коих лежали селения Амт-Баублен, Погеген и другие, — все было для них открыто и видимо, тогда как мы ничего другого не могли видеть, кроме Тильзита, торчавшего на хребте высокого берега и потом сходящего по скату его к Неману. Однако нам ясно представлялось все, что происходило в этой части города. Мы видели толпы жителей, мы могли даже различать мундиры всякого рода войск, там роившихся, и любоваться стоявшей по обеим сторонам главной улицы, от сгиба оной до берега Немана, старой гвардией, которой часть построена была несколькими линиями, обращенными лицом в нашу

сторону. Все это войско ожидало появления непобедимого вождя своего, громоносного своего полубога, чтобы приветствовать его в минуту быстрого его проскока к пристани.

С нашей стороны никаких приготовлений не было сделано, кроме барки с гребцами и, в виде конвоя, одного полуэскадрона Кавалергардского полка и одного полуэскадрона, или полного эскадрона, прусской конной гвардии. Войска эти расположены были на берегу реки, правым флангом против сожженного моста, левым — к некогда богатой крестьянской усадьбе, называемой *Обер-Мамельшен-Круг* и находящейся почти у самого берега, на повороте дороги, проложенной мимо ее из Тильзита в Амт-Баублен. Эта усадьба назначена была местом кратковременного приюта для императора Александра, дабы прибыть ему к барке и потом к павильону не ранее и не позже Наполеона. Долго искали красивее пристанища, но никакого уже строения на берегу не существовало; все разобраны были на бивачные костры, — да и это строение представляло вместо крыши одни стропилы: ибо вся солома, служившая крышей, снята была войсками для кормления лошадей, нуждавшихся не токмо в сене, но и в соломе.

Поутру некоторые из главных генералов наших съехались верхами в Амт-Баублен, где находился уже император. Князь Багратион туда же приехал, и я, пользуясь званием его адъютанта и жаждавший быть свидетелем такого необыкновенного зрелища, следовал за ним, одетый в богатый лейб-гусарский ментик.

Все были в парадной форме по возможности. Государь имел на себе Преображенский мундир покроя того времени. На каждой стороне воротника оно вышито было по две маленьких золотых петлицы такого же почти рисунка, какой теперь на воротниках Преображенского мундира, но несравненно меньше. Эксельбант висел на правом плече; эполетов тогда не носили. Панталоны были лосиные белые, ботфорты — короткие. Прическа тем только отличалась от прически нынешнего времени, что покрыта была пудрою. Шляпа была высокая; по краям оной выказывался белый плюмаж, и черный султан веял на гребне ее. Перчатки были белые лосиные, шпага на бедре; шарф вокруг талии и андреевская лента чрез плечо. Так был одет Александр.

Теперь одежда эта показалась бы несколько странною; но тогда она всем нравилась, особенно на тридцатилетнем мужчине такой чудесной красоты, стройности и ловкости, коими одарен был покойный император.

Около одиннадцати часов утра государь, прусский король, великий князь Константин Павлович и несколько генералов, назначенных сопровождать государя на барке, сели в коляски и отправились к берегу Немана, по Тильзитскому тракту. Прочие генералы с адъютантами своими скакали верхами по обеим сторонам колясок; эта процессия, без сомнения, видна была из Тильзита. Так прибыли мы в *Обер-Мамельшен-Круг*. Коляски остановились, и все вошли в огромную сельскую горницу. Государь сел близ окна, лицом ко входу. Он положил свою шляпу и перчатки на стол, стоявший возле него. Вся горница наполнилась генералами, с ним приехавшими и у коляски его скакавшими. Мы, адъютанты, вошли вслед за нашими генералами и поместились на дне картины, у самого входа.

Я не спускал глаз с государя. Мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостию духа чувства, его обуревавшие и невольно высказывавшиеся в ангельском его взгляде и на открытом, высоком челе его. И как могло быть иначе? Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем и администратором, пылавшим лучами ослепительного ореола, дивной, почти баснословной жизни, с завоевателем, в течение двух только лет, всей Европы, два раза поразившим нашу армию и стоявшим на границе России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим увлекательнейшим даром искушения и вместе с тем одаренным необыкновенной проницательностью в глубину характеров, чувств и мыслей своих противников. Дело шло не об одном свидании с ним, а, посредством этого свидания, об очаровании очарователя, об искушении искушителя, о введении в заблуждение светлого и положительного гениального его разума. Необходимо было отвлечь силы, внимание и деятельность Наполеона на какое-либо предприятие, которое по отдаленности своей могло бы дать время Европе хотя сколько-нибудь освободиться от загромождивших ее развалин; России — приготовить средства для отпора покушений на независимость ее, рано или поздно государем предвиденных.

Вот что волновало мысли и душу Александра, и вот что им достигнуто было вопреки мнения света, всегда обворажающегося наружностью. Как и что ни говори, но победа в этом случае несомненно и неоспоримо осталась за нашим императором, это можно доказать самыми фактами. Наполеон очнулся от заблуждения своего только в конце 1809 года, когда великодушное упрямство испанцев отвлекло уже большую часть сил его от Европы и когда мы, будучи его союзниками, так явно уклонялись от содействия ему в войне с Австриею, чтобы сохранить с нею те связи дружества, которые нам немало пригодились в эпоху Отечественной войны.



Не прошло получаса, как кто-то вошел в горницу и сказал: «Едет, ваше величество». Электрическая искра любопытства пробежала по всех нас. Государь хладнокровно и без торопливости встал с своего места, взял шляпу, перчатки свои и вышел с спокойным лицом и обыкновенным шагом вон из горницы. Мы бросились из нее во все отверстия, прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двух рядов старой гвардии своей. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу. Конвой и свита его состояли, по крайней мере, из четырехсот всадников.

Почти в одно время оба императора вступили каждый на свою барку. Государя сопровождали: великий князь Константин Павлович, Беннингсен, граф (что ныне князь) Ливен, князь Лобанов, Уваров и Будберг, министр иностранных дел. С Наполеоном находились: Мюрат, Бертье, Бессьер, Дюрок и Коленкур. В этот день король прусский не ездил на свидание; он оставался на правом берегу реки вместе с нами.

О, как явственно, — невзирая на мою молодость, — как явственно поняла душа моя глубокое, но немое горе этого истинного отца своего народа, этого добродетельнейшей жизни человека! С какими полными глазами слез, но и с каким восторгом глядел я на монарха, сохранившего все наружное безмятежие, все достоинство сана своего, при гибели, казалось, неотразимой и окончательной!

Но вот обе императорские барки отчалили от берега и поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза обратились и устремились на противный берег реки к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Великого и Юлия Кесаря, коих он так много превосходил разнообразью дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных.

Я глядел на него в подзорную трубку, хотя расстояние до противного берега было невелико и хотя оно сверх того уменьшалось по мере приближения барки к павильону.

Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, — особо и безмолвно. Время изгладило из памяти моей род мундира, в котором он был одет, и в записках моих, писанных тогда наскоро, этого не находится, — но, сколько могу припомнить, кажется, что мундир был на нем не конно-егерский, обыкновенно им носимый, а старой гвардии. Помню, что на нем была лента Почетного Легиона, чрез

плечо по мундиру, а на голове та маленькая шляпа, которой форма так известна всему свету. Меня поразило сходство его стана со всеми печатными изображениями его, тогда везде продаваемыми. Он даже стоял со сложенными руками на груди, как представляют его на картинках. К сожалению, от неимения опоры подзорная трубка колебалась в моих руках, и я не мог рассмотреть подробностей черт его так явственно, как бы мне этого хотелось.



Встреча на Немане Александра I и Наполеона.  
Гравюра Ламо и Мисбаха. 1-я четв. XIX в.

Обе барки причалили к павильону *почти* одновременно, однако барка Наполеона немного прежде, так что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорыми шагами сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки; тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а оставались на плоту большого, знакомясь и разговаривая между собою. Спустя около часа времени они позваны были в большой павильон к императорам. Там-то Наполеон, сказав каждому из них по приветствию, говорил более, чем с другими, с Беннингсеном. Между прочим он сказал ему: «Вы были злы под Эйлау» (*Vous etiez mechant a Eilau*), выражая сим изречением упорство и ярость, с какими дрались войска наши в этом сражении, и заключил разговор с ним этими словами: «Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью» (*J'ai toujours admire votre talent, votre prudence encore plus*). Самолюбие почтенного старца-воина приняло эту полуэпиграмму за полный мадригал, ибо во мнении великих полководцев *осторожность* почитается последней военной добродетелью, *предприимчивость* и

*отважность* – первыми. Этот анекдот рассказывал мне Беннингсен несколько раз, и каждый раз с новым удовольствием.

Так как Наполеон встретил императора Александра при выходе его из барки, то этикет требовал, чтобы император Александр проводил Наполеона до той барки, на которой он приехал, что и было сделано, и тем заключилось первое свидание.

Французы ликовали!

Музыканты сочиняли и играли марши и танцы разного рода в честь *достопамятного свидания*, в честь *дружбы великих монархов* и прочее. Стихотворцы сочиняли романсы, стансы и песни на те же предметы.

У меня остался в памяти отрывок одной из них – «Le radeau»:

Sur un radeau  
J'ai vu deux maitres de la terre;  
Sur un radeau  
J'ai vu la paix, j'ai vu la guerre  
Et le sort de l'Europe entiere  
Sur un radeau<sup>[5]</sup>.

Следующих куплетов не припомню, но вот конец последнего:

Je gagerai, que  
l'Angleterre  
Graindrait moins une  
flotte entiere  
Que ce radeau<sup>[6]</sup>.

Что касается до нас, одно любопытство видеть Наполеона и быть очевидными свидетелями некоторых подробностей свидания двух величайших монархов в мире – несколько развлекли чувства наши; но тем и ограничивалось все наше развлечение. Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, даже знакомства ни с одним из них, невзирая на их старание – вследствие тайного приказа Наполеона – привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливости и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью – и все тут. 1812



Императорские объятия на плоту  
(Встреча в Гильзите).  
Английская карикатура неизв. худ. 1800-е гг.

год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть.

Я не буду описывать свидания, сменившего на другой день первое свидание; это значило бы повторять мною сказанное. Разница между ними состояла в том только, что в последнем участвовал король прусский, что некоторые из особ свиты императора уступили места свои на барке другим особам и что государь и прусский король приглашены были на жительство в Тильзит.

Спеша привести в исполнение последнее обстоятельство, Наполеон в то же утро приказал вывести часть гвардии своей из половины Тильзита и приготовить эту половину города нашей гвардии. Там же приказал он отвести два лучшие дома для обоих монархов.

Этого же дня, в шесть часов пополудни, государь переехал в Тильзит. Наполеон встретил его величество у самого берега при выходе его из лодки. Вся французская пешая и конная гвардия стояла в параде по обеим сторонам главной улицы, от пристани до наполеоновской квартиры, куда государь приехал верхом рядом с Наполеоном. Там был обеденный стол, к которому приглашены были только великий князь Константин Павлович и Мюрат.

Вечером вступила в половину города, оставленную французской гвардией, часть нашей гвардии, назначенная находиться при высочайшей особе. Она состояла из одного батальона Преображенского полка, под командою того же полка полковника графа Воронцова (ныне генерал-губернатор Новороссийских губерний), из одного полуэскадрона Кавалергардского полка, под командою того же полка ротмистра Левашева (ныне генерал от кавалерии и граф), из одного полуэскадрона, или взвода, Лейб-гусарского полка, под командой того же полка штабс-ротмистра Рейтерна (умер генерал-лейтенантом), и из нескольких лейб-казаков.



Наполеон и Александр I в Тильзите.  
Худ. Бержере.

Дом, который занимал государь, находился на большой улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, в сажнях восьмидесяти или в ста. Он был двухэтажный, хотя весьма неогромного объема; имел парадное крыльцо, впрочем, довольно тесное, но украшенное четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между двух из средних колонн его фасада. Крыльцо это примыкало к довольно просторным сеням, представляющим три выхода: один в правые, другой в левые комнаты нижнего этажа и третий — прямо, на довольно благовидную и опрятную лестницу, ведущую в верхний этаж, обитаемый самим государем. Войдя на этот этаж, направо находилась общая комната; она была в симметрии с внутренним покоем государя и соединялась с этим покоем проходной комнатой, из коей была дверь на балкон, поддерживаемый колоннами парадного крыльца.

Кроме упомянутой мною части гвардии, находившейся в Тильзите с Воронцовым, Левашевым и Рейтерном, никому не позволено было, ни из наших, ни из прусских войск, приезжать в Тильзит. Разумеется, что из этого числа исключены были адъютанты, по случаю необходимых иногда сношений армии с императорскою главною квартирою, и, разумеется, что я не преминул воспользоваться этой привилегиею. Впрочем, любопытство видеть Наполеона восторжествовало над всеми надзорами. Множество наших генералов, штаб- и обер-офицеров, для избежания препятствий, одевались в партикулярные платья и проживали в Тильзите по несколько дней. После кампании, столько тяжелой и продолжительной, Тильзит казался нам земным раем. Что же касается до высоких гостей этого города, я полагаю, что, невзирая на взаимное их согласие, приветливости,

угождения и, если смею прибавить к этому священное слово, *дружбу*, по крайней мере *наружную*, — я полагаю, что род жизни, которую вели они, не соответствовал нраву и привычкам ни того, ни другого.

Дни шли за днями почти однообразно. В полдень или в час пополудни завтрак, вроде обеда. В шесть часов или император Александр приезжал к Наполеону верхом с малочисленными своими конвоем и свитой или Наполеон приезжал к Александру, также верхом, с огромною своею свитой и с огромным своим конвоем. Потом отправлялись они вместе на маневры<sup>[7]</sup> каких-либо французских войск, или всей гвардии вообще, или гвардии же по частям, или корпуса Даву. Заметить надо, что, невзирая на близкое расположение корпуса Ланна от Тильзита, этот корпус ни разу не был представлен государю, потому что он состоял из одних обломков, оставшихся после понесенного им урона под Гейльсбергом и Фридландом. По окончании маневров Наполеон обыкновенно приглашал государя к себе, где в восемь часов они садились за трапезу. Почти ежедневно, в десять или в одиннадцать часов вечера, Наполеон посещал государя без этикета, по-дружески, пешком, один, без свиты, без охранной стражи, в той исторической шляпе, в том историческом сером сюртуке, от коих земля дрожала и которые, казалось, курились еще дымом сражений на самых дружеских беседах. Там он пил чай и оставался с глаза на глаз с государем до часу, а иногда и до двух часов за полночь.

Король прусский переехал в Тильзит 16-го и с того дня часто проводил время с Александром и Наполеоном, — кроме вечерних бесед. Королева прибыла 25-го, за два только дня до заключения мира.

Все, что происходило явно и торжественно, имело очевидными свидетелями не одного меня, и потому можно надеяться, что кто-нибудь дополнит и исправит мною забытое или ошибочно представленное. Достоин сожаления, что никому нельзя описать происшествий, гораздо важнейших: разговоров обоих императоров с глаза на глаз при первой встрече их в павильоне и на упомянутых вечерних беседах. Все это происходило без свидетелей и, следовательно, осталось без историка. Вот невозвратная утрата!

Другие происшествия, гораздо менее любопытные, но много еще занимательные и потому драгоценные для истории, имея свидетелей, могли бы быть описаны ими со всеми подробностями, — это сношения обоих монархов, не совсем тайные, не совсем публичные; разговоры, шутки, пролетные мнения и иногда невольные вырывавшиеся предположения их, словом, разные мысли, которые они сообщали один другому во

время прогулок, на маневрах, за обедами, — везде, куда мы, молодые офицеры, не имели права, ни средств проникнуть. К сожалению (по крайней мере относительно этого предмета), многих из этих свидетелей нет уже на свете, а оставшиеся в живых кончают дни свои с полным равнодушием к исполинским, к эпическим событиям того времени, как беззаботные аисты на развалинах Трои.

Имея некоторое право посещать Тильзит, я просил князя Багратиона о дозволении мне ездить туда как можно чаще. Князь, столько же взыскательный начальник во всем, что касалось до службы, сколько снисходительный и готовый на одолжения подчиненных своих во всяком другом случае, согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите. Это обстоятельство представило мне средство видеть почти ежедневно Наполеона, и часто на расстоянии одного или двух шагов от себя, не далее.

Чтобы избежать повторений, я опишу только первую мою встречу с ним; прочие, кроме кой-каких особенностей, не достойных внимания, во всем сходствовали с этой первой встречей.

Не помню, которого числа, знаю только, что скоро после переезда государева в Тильзит, князь Багратион послал меня с запискою к одному из чиновников императорской главной квартиры. Я нарядился в парадный лейб-гусарский мундир и переехал чрез Неман на лодке. Особа, к которой я послан был, находилась в общей комнате дома, занимаемого государем. Я нашел в этой комнате князя Куракина и князя Лобанова, уполномоченных тогда при переговорах о мире, прусского фельдмаршала Калькрейта, некогда покорителя Майнцкой крепости и свежего еще и знаменитого защитника Данцига, множество министров и других государственных сановников. При мне вошел Коленкур с какою-то особого рода надменною и наглою учтивостью. Он прислан был Наполеоном с приглашением государя на маневры в шесть часов и к его обеденному столу после маневров. Спесивая осанка этого временщика переступала меру терпимости! После, во время посольства своего в Петербурге, он был еще напыщеннее и неприступнее; но, Боже мой! надо было видеть его восемь лет после, под Парижем, в утро победного вступления нашего в эту столицу!

Исполняя данное мне препоручение, я пошел к однополчанам моим, конвойным лейб-гусарам, где пробыл до шестого часу в нетерпении и в

надежде рассмотреть Наполеона лучше, чем я видел его, плывшего на барке.

В шестом часу я уже был на парадном крыльце дома государя.

Не прошло получаса, как услышал я топот многочисленной конницы и увидел толпу всадников, несущихся во всю прыть по главной улице к дому его величества. Это был Наполеон, окруженный своею свитою и конвоем.

Толпа, сопутствовавшая ему, состояла, по крайней мере, из трехсот человек. Впереди скакали конные егеря, за ними все, облитые золотом, в звездах и крестах, маршалы и императорские адъютанты (то же, что у нас генерал-адъютанты). За этою блестящею толпою скакала не менее ее блестящая толпа императорских ординарцев (*officiers d'ordonnance*, род наших флигель-адъютантов), перемешанных со множеством придворных чиновников, маршальских адъютантов и офицеров генерального штаба, также чрезвычайно богато и разнообразно одетых. Вся эта кавалькада замыкалась несколькими десятками другой части скакавших впереди конных егерей. В самой середине этой длинной колонны, между маршалами, скакал сам Наполеон.

И вот он у крыльца. Один из двух бессменных пажей его, Мареско, сын славного инженерного генерала, хорошенький мальчик лет семнадцати, одетый в гусарском коричневом доломане с золотом и в треугольной шляпе с полями, соскочил с лошади своей, бросился перед лошадь Наполеона и схватил ее обеими руками под уздцы. Наполеон сошел или, лучше сказать, спрыгнул с нее, и так быстро вбежал на крыльцо и прошел мимо меня к лестнице, ведущей в государевы покои, что я едва мог заметить его. За ним пошли маршалы и адъютанты его; но все прочие чиновники, свита и конвой его остались верхами на улице. Мюрат, шедший вслед за Наполеоном, встретясь у крыльца с великим князем Константином Павловичем, занялся с ним разговором и не пошел далее. Я долго смотрел на этого Мюрата, на этого, без сомнения, одного из блистательнейшей храбрости военачальников европейских конниц. Его красоту стана и лица, его карусельный род одежды, со всем тщанием и со всем кокетством модной красавицы носимый, бросались в глаза. Известно, что он наряжался богаче и великолепнее на те сражения, в которых он предвидел более опасностей. Но известно также, что, при этом рыцарском духе, дарования его ограничивались яростью в сечах, картинною наружностью и одним навыком механического построения громад кавалерии и действием ими на пункты, указанные Наполеоном.



Мареско вошел на крыльцо и остановился возле меня, препоруча придворному, распудренному и покрытому галунами, конюшему держать Наполеонову лошадь у самых ступеней крыльца. Я помню, что лошадь эта была рыжая, очень небольшого роста, но чистейшей арабской крови и с длинным хвостом. Седло на ней было бархатное малиновое, чепрак такой же, золотом шитый, оголовье из золотого галуна; удила и стремяна из литого золота.

Вдруг зашумело на государевой лестнице. Маршалы и адъютанты сходили с нее не останавливаясь и быстро шли к лошадям своим. Мареско предупредил их. Он стремглав бросился с крыльца к Наполеоновой лошади, которую, приняв от конюшего, взял под уздцы, как прежде. Несколько лет пред тем республиканец, несколько часов пред тем гордый вельможа, — Коленкур, в богатом обер-шталмейстерском мундире и с двумя звездами на груди, держал одною рукою стремя для наполеоновской ноги, другою — хлыст для руки его, ожидая подхода барина своего к лошади.

Наполеон вышел из сеней на крыльцо рядом с государем и от тесноты крыльца остановился так близко ко мне, что я принужден был попятиться, чтобы как-нибудь случайно не толкнуть его. Он рассказывал что-то государю весело и с жаром. Я ничего не слышал. Я весь был зрение. Я пожирал его глазами, стараясь напечатлеть в памяти моей все черты, все изменения физиономии, все хватки его. К счастью моему, он, как будто в угождение мне, заговорился более, чем обыкновенно говаривал на ходу к какому-нибудь предмету, и оттого пробыл возле меня, конечно, более двух минут. Я был доволен, но не совсем. Мне непременно хотелось видеть явственнее цвет глаз и взгляд его, и он в эту минуту, как бы нарочно, обратил голову на мою сторону и прямо взглянул мне в глаза. Взгляд его был таков, что во всяком другом случае я, конечно, опустил бы веки; но тут любопытство мое все превозмогло. Взор мой столкнулся с его взором и остановился на нем твердо и непоколебимо. Тогда он снова обратился к государю с ответом на какой-то вопрос его величества, сошел со ступеней крыльца, надел шляпу, сел на лошадь, толкнул ее шпорами и поскакал, как приехал: почти во все повода. Все это было сделано одно за другим, без антрактов. В ту же секунду все впереди его, все вокруг него, все позади его стоявшие всадники различных чинов и званий разом двинулись с места, также во все повода, и все великолепное зрелище, как блестящий и громозвучный метеор, мгновенно исчезло из виду.

Я уже сказал, сколько поражен был сходством стана Наполеона со всеми печатными и тогда везде продаваемыми изображениями его. Не могу того же сказать о чертах его лица. Все виденные мною до того

времени портреты его не имели ни малейшего с ним сходства. Веря им, я полагал Наполеона с довольно большим и горбатым носом, с черными глазами и волосами, словом, истинным типом италийской физиономии. Ничего этого не было.

Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только тридцать семь лет от роду и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его собственностью: это какая-то сановитость благородно-воинственная и, без сомнения, происходившая от привычки господствовать над людьми и чувства морального над ними превосходства. Не менее замечателен он был непринужденностью и свободой в обращении, так и безыскусственной и натуральной ловкостью в самых пылких и быстрых приемах и ухватках своих, на ходу и стоя на месте. Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, и глаза голубые, — что, от его почти черных ресниц, придавало взору его чрезвычайную приятность. Наконец, сколько раз ни случалось мне видеть его, я ни разу не заметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты.

В этот день и, впрочем, во все последовавшие дни мундир на нем был конно-егерский, темно-зеленый, с красною выпушкою и с отворотами наискось, срезанными так, чтобы виден был белый казимировый камзол с маленькими мундирными пуговицами. Эполеты на нем были золотые полковничьи, подобные нынешним нашим эполетам полных генералов, без звездочек. На мундире его была звезда и крестик Почетного Легиона. Нижнее платье белое казимировое, ботфорты выше колена, из мягкой кожи, весьма глянцевитые и с легкими золотыми шпорами. Шпага на бедре и шляпа в руке, пока не подходил он к лошади.

Из свиты его я заметил маршала Ланна, человека сухощавого и с физиономиею, поражающею стойкостью, предприимчивостью и решимостью, и маршала Даву, дебелого, довольно высокого роста, лысого, с очками на носу и по наружности своей мало достойного внимания, но уже знаменитого воина по Ауэрштетской победе, собственно ему принадлежащей. О Бертье и о прочих маршалах и генералах я умолчу: время изгладило образы их из моей памяти. Для дополнения описания наружности

Наполеона я представляю здесь немногим известное письмо остроумного принца де Линь, видевшего его несколькими только днями после меня. Из этого письма я перевожу на русский язык те только места, которые относятся единственно до Наполеоновой особы.

«Наконец я видел этого делателя и разделявателя королей. Узнав, что после побед своих, свиданий своих и заключения мира он возвращается в Париж и будет проездом в Дрездене, я из Теплица приехал туда 17/5 июля. Мы с герцогом Веймарским втерлись в толпу народа, стоявшего у дворцовой лестницы. Император с королем всходили на нее так медленно, от многочисленности и неловкости саксонских низкопоклонников, что я без труда мог осмотреть первого из них с ног до головы. Мне понравилось положение головы его и осанка его, благородно-воинственная. Эта осанка — не великих господ по *дипломам*, обыкновенно пышущая презрением или наглостью, которые принимаются за благородство. Взгляд его был тверд, тих и величествен. Казалось, что он мыслил о многих важных предметах, что давало величавое спокойствие физиономии, и она была в истинном и естественном положении своем. Но физиономия эта не понравилась мне на другой день от принужденной улыбки ложного добродушия, чувствительности и покровительства, — улыбки, которою он, во время посещения своего картинной галереи, угощал народную сволочь и меня вместе с нею.

.....

Я не отставал от него и всегда находился на одной высоте с ним, позади толпы, между которой он шел. Я был похож на влюбленного человека, который, чтобы не опустить с глаз милую свою, танцующую экосез, следует за ней вниз и вверх рядов экосеза. Так я не терял ни единого взгляда, ни единого звука голоса его. Звук этот показался мне немного простонароден. Он бросил несколько вопросов и замечаний отрывисто и, что меня удивило, на манер Бурбонов, с которыми он также сходствует и некоторым качаньем с боку на бок, на ходу и стоя на месте. Что производит это: престол французский или умышленность?

Все замечательно в человеке, который не говорит и не делает ничего даром и без цели. Так, например, я заметил, что он удостоивал легким вниманием Магдалину Корреджиеву, картины Тициановы, трех граций, прелестный эскиз Рубенса и прочие и останавливался пред обыкновенными картинами, представляющими сражения или какие-нибудь важные исторические события. Опять спрошу: как это случилось — само собою или с намерением? Нет сомнения, что это было сделано для зрителей.



Награжденный солдат в Тильзите.  
Худ. Дебре.

Наполеон купался, давал аудиенции в ванне, просыпался и вставал в пять часов, навещал в госпиталях раненных под Иеной, осматривал укрепления города и кадетский корпус, где экзаменовал кадетов, держа каждого экзаменуемого за ухо.

*Странная эта привычка, или ухватка! Он то же делал с князем Иоанном Лихтенштейном при мирных переговорах в Брюне. Случилось, что, не соглашаясь на некоторые статьи, на которые прежде был согласен, он вздумал, по-прежнему, взять за ухо уполномоченного генерала. Лихтенштейн, отстраняясь, сказал ему: «Если герой нашего века не то говорит во вторник, что говорил он в понедельник, — он вероломствует и мрачит свою славу: военному человеку не пристойно иметь с ним дело: я пришлю к нему министра». Это победило Наполеона.*

Вот другое обстоятельство, которое отвлекло меня от представления к нему и в Вене, и в Дрездене; он обошелся бы со мною или очень ласково,

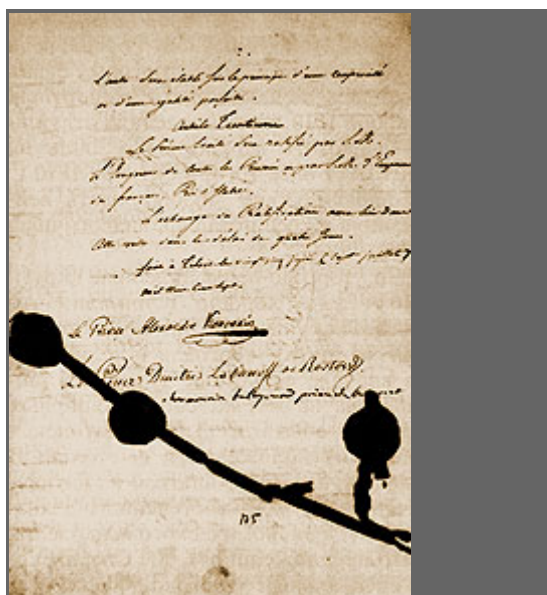
или очень грубо. В первом случае я потерял бы уважение к себе и между своими; во втором — он смутил бы меня упреками за мои шутки на его счет (ибо ему все известно). Что бы я отвечал ему, если бы он сказал мне: «То вы, сударь, называете меня Сатанюю 1-м, то землетрясением, то чертом-человеком, то Магометом-Калиостро».

Он, может быть, не знает всего удивления, всего восторга, питаемого мною к нему, чудеснейшему существу, которому подобного не было еще в этом мире!»

.....

Наконец, 27-го июня, заключен был мир. Войска наши выступили в Россию; князь Багратион отправился в Петербург, и я туда же. Отдых наш был непродолжителен: в январе месяце мы уже были с войсками, воюющими в Финляндии. Это напоминает мне слова незабвенного друга моего и боевого собрата Кульнева: «Матушка Россия, — говаривал он тогда, — тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся». В то время был еще другой угол, где дрались, — это Турция, куда князь, следственно, и я за ним, явились по прекращении военных действий в Финляндии.

Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было поприще для надежд честолюбия!



Тильзитский мирный договор.  
Фрагмент.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Покойным генерал-фельдмаршалом.

[2] Как некогда сказал Кутузов Себастиани. Себастиани, после долгого хвастовства, фанфаронства и исчисления монархов, покорных воле Наполеона, переменяя речь, разговорился о Платове и вдруг, оборотясь к Кутузову, спросил его: «Qu' est ce que c'est qu'un Hettman des cosaques?» (Что такое казачий атаман?) «C'est une espece de votre Roi de Westphalie». (Это что-то похожее на вашего Вестфальского короля), — отвечал Кутузов. Себастиани закусил губы. Это было в Яссах, в конце 1807 года, за обеденным столом у главнокомандующего молдавской армией, фельдмаршала князя Прозоровского. Себастиани проезжал тогда из Константинополя в Париж.

[3] Memoires tires des papiers d'un homme d'Etat (Hardenberg). Tome 9.

[4] Memoires tires des papiers d'un homme d'Etat (Hardenberg). Tome 9, page 431 et 432.

[5] На одном плоту я видел двух повелителей мира; на одном плоту я видел и Мир, и Войну, и судьбу целой Европы — на одном плоту. — *Ред.*

[6] Бьюсь об заклад, что Англии целый флот менее страшен, чем этот плот. — *Ред.*

[7] Посетив однажды лагерь французских войск, императоры заехали в полк, находившийся под начальством полковника Никола. Наш государь, попробовав похлебку из принесенного котелка, приказал наполнить его червонцами. Спустя пять лет этот Никола был взят в плен и находился при А. П. Ермолове. Во время приезда государя в Вильну, в конце 1812 года, этот Никола, одетый в партикулярное платье и с головою, повязанною платком вследствие ран, ожидал в толпе вместе с другими приезда государя. Несмотря на его костюм и повязку на голове, государь, увидав его, сказал ему весьма ласково: «Я вас где-то видал». — «Я имел счастье принимать ваше величество у себя в полку, а ныне я ранен и в плену». Государь приказал тотчас выдать ему двести червонцев. Впоследствии, в 1814 году, государь спросил однажды в Париже Ермолова: «Где твой Никола, зачем ты его с собой не привез?» «Я не смел этого сделать, — отвечал он, — потому что вашим величеством было строго приказано оставить всех пленных в России».

---

1999, Библиотека интернет-проекта [«1812 год»](#). Электронная публикация подготовлена  
2010, перевел в формат \*pdf [Поляковым О.](#)  
[Цибанов В.](#)